



*Мария Степанова
Александр Баунов
Полина Барскова
Юрий Сапрыкин
Екатерина Шульман
Евгений Фёдоров
Дмитрий Быков
Дмитрий Галковский
Эдуард Джафаров
Эдуард Лимонов
Павел Кузнецов
Иван Дыховичный
Виктор Топоров
Лев Рубинштейн
Генриетта Яновская
Александр Тимофеевский
Константин Мурзенко
Сергей Кузнецов
Михаил Берг
Людмила Петрушевская
Александр Гольдштейн
Дмитрий Пригов*

МОИ ДЕВЯНОСТЫЕ

ПЕСТРАЯ КНИГА

Составитель Любовь Аркус

Мои девяностые. Пестрая книга

«СЕАНС»

2021

УДК 94(470)
ББК 63.3(2Рос)

Мои девяностые. Пестрая книга / «СЕАНС», 2021

ISBN 978-5-905669-42-2

В сборник вошли воспоминания о первом десятилетии новой России, записанные в конце 1990-х, в 2000-е и 2020-е. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(470)
ББК 63.3(2Рос)

ISBN 978-5-905669-42-2

, 2021
© СЕАНС, 2021

Содержание

3. Девяностые из девяностых	6
Жизнь победила никому не известным способом	7
Темнеющий воздух	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Мои девяностые. Пестрая книга

Составитель Любовь Аркус

В оформлении издания использованы фотографии из архивов журнала «Сеанс» и агентства *Alamy* / ТАСС. Редакция приносит свои извинения тем фотографам, чьи имена не удалось установить.



СЕАНС

© 2021 Мастерская «Сеанс»

3. Девяностые из девяностых



Жизнь победила никому не известным способом



Дмитрий Пригов

поэт, художник

1940–2007

«Чувствую, что в воздухе носятся огромные деньги!» – расширив глаза, восклицал художник Гундлах, даже несколько раздувая ноздри, принохиваясь вроде. Отчего реальность носящихся в атмосфере денег приобретала некую степень достижимости. Кстати, этот же Гундлах весьма охотно показывал лишний ряд зубов, белых и ядреных, выросших у него глубже основных и обиходных. Но это так, к слову. А деньги носились перед нашим доверчивым и неискушенным воображением на заповедных тогда еще для робких советских существ улицах Западного Берлина. Носились ли они, не носились – сейчас уж трудно и восстановить с достоверностью. Но Европа тогда была действительно на пике своего экономического расцвета и в кипении некой энергии, освободившейся после превозмогания восточного колосса в многолетнем их противостоянии. Мы же, группка московских андеграундистов, выбравшись впервые из своих конурок, квартирок и подвалов, сразу же попали в самый искусственно-взрощенный и рекламно наираскрашенный западный заповедник. Еще стояла разделяющая стена, за которой полуспал, полумолился, полуворошился Восточный Берлин. Некий ужас и восторг (почти на генетическом уровне) манил к стене с ее кафкианскими пропускными пунктами. И мы шли. На противоположной стороне переминались мрачно-помятые советско-немецкие люди. Такими они являлись нам, представшими перед ними уже как бы в западном неоновом ореоле. Но, естественно, с тяжелой атавистической коростой в душе, превышавшей всякую мрачность и как бы помятость восточных немцев. Эта кентаврность существования долго еще, помню, не оставляла меня. Тогда и потом я часто врубался носом (иногда и до крови) во всякие стеклянные витрины и двери, столь немислимо прозрачные, что нарушали привычный механизм узнавания, опознания границ между разнородными пространствами. Душа просто возликовала, когда из вышеупомянутого Берлина, отлетев краткосрочно в Софию, выйдя в аэропорту, обнаружил я милые мутные и запятнанные стекла и надпись на стенке бара: «Кофе няма». В Москве тогда было тоже «няма» всего: кофе, сигарет, чая и прочих продуктов типа сыра и колбасы. Их-то вместе с носильными шмотками и техникой все везли и везли озабоченные толпы новых посетителей, возвращавшихся из дальних обеспеченных пространств.

Так вот, мои знакомые восточноберлинцы, встретив меня у пропускного пункта на Фридрихштрассе, водили по достопримечательностям все еще к тому времени полуразрушенного Восточного Берлина и плакались на свою тяжелую тоталитарную долю, завидуя нашей нынешней (в смысле, тогдашней) перестроечной. С некоторым чувством неловкого незаслуженного превосходства кивал я сочувственно своим подавленным друзьям, бессмысленно приговаривая: да, да, конечно! И вспоминались собственные плаканья в жилетки всяким заезжим иностранцам, куда более отзывчивым, сочувствующим и готовым на реальную помощь и поддержку,

чем мы теперь. Все это вызывало вспышку иррационального ужаса при возвращении обратно через тот же пропускной пункт в свою возлюбленную и уже как бы и присвоенную свободу. При виде холодных и неприязненных лиц пограничников с их такими же подозрительными собаками на коротком поводке ты ясно осознавал всю эфемерность и химеричность милостиво дарованных тебе властью прав. Они вертели твой красненький паспортик, и очень даже верилось, что произнесут вот сейчас на ломаном русском, изучаемом ими все их унылое детство: «Пройдемте, товарищ!» То, что вчера было еще знакомым и привычным, сегодня казалось непереносимым и глубоко неестественным.

Может, это и звучит банально, но все и вправду менялось стремительно! Это и вправду то единственное слово, которым определялось тогдашнее положение дел и состояние душ, еще утружденных разочарованием.

Художники вдруг стремительно разбогатели и в этих новых обстоятельствах вели себя несколько глуповато. Сразу оговорюсь: весьма на короткое время. Но было, было! Потом все вернулось на свои в общем-то должные места. И достаточно скоро только жалостная улыбка появлялась в ответ на упоминание о деньгах. Курс рубля начал меняться, Запад вдруг страстно возжелал видеть и приобретать в собственность произведения московского неофициального искусства. Началась эйфория взаимной любви художников и иноземных галеристов, кураторов, коллекционеров. Они толпами бродили по мастерским, подвалам и квартирам. Среди художников, доселе раздираемых только гениальными амбициями и высокомерием стилевых несовместимостей, обнаружились первые финансовые раздоры, обиды и ревности по поводу успехов приятелей. Предъявлялись претензии в сокрытии знакомств с влиятельными приезжими. И основания были. Господи, да основания всегда на все найдутся! Прошедший в 1988 году аукцион *Sotheby's* просто потряс московский художественный мир. Ажиотаж был необыкновенным. Летом 1989-го с главным героем *Sotheby's* Гришей Брускиным, чьи картины ушли с аукциона за невиданную и никем не ожидаемую сумму в несколько сотен тысяч долларов, жили мы на соседних дачах в поселке Быково. Днем что-то такое работали, а вечером я приходил на веранду к Брускину, где он уже ожидал меня с семьей за столом, за вечерним чаем, так сказать. О чем мы разговаривали? Ну, догадаться! С трех раз. О чем? Правильно, о галереях, о суммах возможных и должных гонораров, о прекрасно организованной тамошней художественной жизни. Говорили, говорили, говорили. Еще кто-нибудь приезжий присоединялся. Позабыв о недавних еще распрях, пафосных столкновениях, о способах выживания артиста, о мощности советского мифа, о славной судьбе творца, непричастного глупостям и насильственностям общества и быта. «О господи, как мы быстро предали наши идеалы!» – мог бы воскликнуть поэт. Но это уж было бы чересчур. Мы и до этого не были абсолютно чужды подобных тем, имея под рукой свидетельства свидетелей и опыты опытных, примеряя на себя возможные варианты западных художественных судеб. Был, в конце концов, опыт наших отъехавших друзей. Вскорости по осени Брускин уехал, и навсегда.

Тут же навсегда отбыл и наш приятель Кабаков. Мы собрались в его мастерской на прощальный вечер. Настроение было легкое и чуть возбужденное. Говорили, естественно, об его симптоматичном отъезде, мысленно примеряли на себя и проигрывали в этих словах собственные варианты удачи. А, скажем, какие-то возможные неудачи и провалы в их откровенной жестокости и наготе на ум почему-то не приходили. Нет, нет, конечно же, говорили и о художественной стратегии, о стилевой чистоте, о культурной вменяемости. Но это было обычно и как бы выносилось за скобки. А новые темы были остры и возбуждающи, посему превалировали в эмоциональных оценках и превалируют в нынешних воспоминаниях. Было ожидание и не было сожаления.

Была даже неожиданная социальная раскованность, без экстравагантности и вызова предыдущих лет. Перед открытием какой-то выставки в Доме художников один из участников осторожно заметил, что, мол, не следует экспонировать эту картину, так как это может быть

воспринято как провокация, что будет как бы подножкой Горбачёву в его праведной борьбе с Лигачёвым (да, да, несмотря на всю нелепость, соображения подобного рода воспринимались в ту пору вполне естественными). Другой участник, молчаливый и даже мрачноватый, желчно заметил: «Если вечно просчитывать, кому против кого помогаем, так никогда ничего и не выставим!» Я был потрясен легкостью и обыденностью этого заявления и таким же спокойствием принятия его не к сведению, а к руководству.

Или в другой раз. По поводу неких проблем только что возникшего тогда Клуба поэзии сидим мы у крупного партийного босса. Сбоку от него крупный городской прокурор. Он и говорит, что, конечно, это не запрещено, но есть особые обстоятельства, особые ситуации, вы понимаете? – Нет, не понимаем, – замечает благородный и строгий Игорь Иртенев, – Горбачёв говорит, что мы строим правовое государство, где законы одинаковы всегда и для всех, и от вас, представителя закона, особенно странно слышать подобное! Ну, в общем, что-то в этом роде благородно возразил Иртенев. А, собственно, кто он такой – Иртенев?! Никто! Мелочь и тля, по старым-то временам. А ишь ты, говорит, возражает, понимаешь, самому прокурору! И, поверители (да, конечно, сейчас вы все уже можете и знаете, вас этим уже не удивить! Но тогда-то!), поверите ли, прокурор закашливается, чуть-чуть розовеет и для спасения ситуации что-то бормочет: да, конечно, я другое имел в виду, конечно, Горбачёв... и прочее. Я опять потрясен.

И как-то сама собой жизнь начала идти по непонятным, несуществующим, неписанным правилам. И уже не очень было понятно, чего опасаться. А опасаться было надо, как говорил весь предыдущий опыт. Вышеупомянутая зажиточность художников строилась по нехитрой модели (как, впрочем, и многих других, ставших зажиточными в то время). Валюту держать было нельзя. Из-за границы привозились компьютеры, видео и телевизоры и продавались за фантастические (по тем временам и по моим представлениям) деньги, хлынувшие в личные руки из «обналичиваемых» кооперативами безналичных фондов. Мое единственное светливое предприятие было связано как раз с компьютером, который я, смущаясь и нервничая, загнал какому-то кооперативу на какие-то якобы производственные цели за неслыханную сумму в 100 000 (!!!) рублей. По закону это все было или нет – я не ведал. Это и наполняло мое поведение светливостью и вороватостью. У меня до сих пор валяется в ящике отпечатанный на полуслепой машинке счет от этого неведомого и давно растаявшего кооперативщика, подосланного мне моими оборотистыми друзьями. Как бы объяснить это нынешним и неведующим, потерявшим всякое представление о мелко-человеческом масштабе зажиточности и выживания. Это же была мечта моей жизни (да и не только моей!) – положить на сберкнижку 100 000 – и жить вальяжно на проценты. И вот они у меня, под рукой, в виде аккуратных пачечек со штампами Центробанка. Но что делать с ними? Как понесешь их все сразу в сберкассау! Я был в восторге, испуге и смятении. Сидя перед ними, я напоминал себе грабителя банка из какого-нибудь американского боевика. Ну ничего, вскорости все встало на свои места, денежки сгорели во всяких там обменах и инфляциях. Но это ощущение бытия в смутной зоне между дозволенным и недозволенным (и то и другое – не опознаваемо) до сих пор мутным комочком болтается во мне. Да и то, только два года, как моего сына выгоняли из института и комсомола как фашиста и панка за дикую стрижку и серьгу в ухе, а тут он вдруг стал уважаемым сыном авангардиста и диссидента. Те же два года назад, уже при Горбачёве, я с улицы загремел посредством КГБ в психушку, а теперь мотаюсь по свободным сборищам в разных уголках Москвы. С Рубинштейном мы часто заходили на Пушкинскую, где образовался круглосточный и нестихающий Гайд-парк. Там однажды из уст мясистого простонародного балагура, не слишком яростно отстаивавшего оригинальную идею гибели всякого русского от всякого еврея, я и услышал: «А вы знаете, как по-настоящему зовут Брежнева?» – и после хитровой паузы последовало: «Леопольд Исакович Карпинский!» И все прямо ахнули от этой гомери-

ческой смеси кота Леопольда и Лена Карпинского. Да, да, так это было! Как это все описать? Только вот таким вот прямым образом: помню.....и пошло!

И пошло, и пошло. И все параллельно, одновременно. И в диком темпе. А вот и Съезд депутатов. Как без него? – уж без него никак! Все просто обалдели. Уж извините меня за все эти «обомлел», «был потрясен», «ахнул», и «о... Нет, не буду употреблять этого слова, хотя оно наиболее было бы подходящим. Да, извините за повторы. Но что же делать, если именно так все и было! С благодарностью в душе к Попову или Маркони, а также к неведомым им изобретателям телевидения все безумно возбудились открывшейся перед ними пылающей картиной почти греческих публичных страстей в прямом эфире на Съезде народных депутатов. Всюду, куда ни зайди, позабывшие свои служебные и семейные обязанности граждане внимали внезапно очеловечившимся голосам народных избранников. Тогда-то и взошли, ныне в большинстве своем благополучно канувшие в беспмятную российскую лету, первые политические поп-звезды: Алкснис (помните такого?), Петрушенко (и я с трудом припоминаю его внешность), маленькие бизон и медведь – Гдлян с Ивановым, чье парное имя звучало на всех устах, благородный Собчак, словно явившийся с заседания какого-нибудь Сената, хитрец Лукьянов... А главное – инопланетянин Сахаров. «Ты слышал, что Власов про КГБ сказал?» – кричала мне мама по телефону. – «Мама, ты же все это и сама давно знала!» – «Да, но раз он говорит, значит, уж действительно черт-те что!»

Да, все смотрели, все слушали, все участвовали. Какой-то горячечный темп происходящего. Так стораает сохранившийся в пределах своей неестественной уже юности, внезапно пробуженный от летаргического сна старец. Вот он открывает глаза. А вот уже стремительно побежали первые жуткие морщины. А вот одна из них почти разрывает неподготовленное тело – это бойня в Тбилиси. Все похолодели, представляя на ступенях тбилисского Дома правительства своих знакомых, которых в Грузии почти у каждого из нас было полно. И первый остановившийся среди этого кипения и стремления был Сахаров, который умер внезапно.

Была еще просто жизнь. Неожиданно, невесть откуда в мою квартиру ринулись, просто как бы рухнули с небес, обвалились тараканы. Их было несметное количество. Я их находил уже не только в кухне, но и в книгах, и в рисунках. Откинув одеяло, я обнаруживал их нежающимися парочками, а то и группами в своей постели. Ночью на кухне, когда я зажег свет, они уже даже и не намеревались бросаться наутек. Сидели и пошевеливали безумным количеством своих парных усиков. А если бы они и попытались броситься в каком-либо направлении, то тут же бы наскочили, наткнулись на тысячи себе подобных, преградивших всякую возможность и надобность бегства. Да, мы знаем и по себе, как чувство коллектива, коллективность как бы анестезирует реальное ощущение реальной опасности. Давить тряпкой или же руками, как бывало во времена, когда я противостоял отдельным смятым особям, сейчас не представлялось возможным. Я просто отчаялся. Но временауже были не те, чтобы этим нечеловеческим тварям одолеть меня. По знакомству у одного физика-ядерщика я добыл некое прямо-таки чудодейственное средство, прямо-таки противотараканью нейтронную бомбу – все оставалось на месте, и на том же месте валялись раскиданные мириады бездыханных сухоньких тельц. Оказалось, что если их не травить, они способны пожрать сверхмощные синхротроны. Но физики – люди хитрые и ушлые. Они изобрели это прямо-таки чудодейственное орудие массового уничтожения. И уже утром я выметал веником сухие и потрескивающие тараканьи тушки. И это было символом, провозвестьем и надеждой, во многом не оправдавшейся, наступления иных, неизвестных тогда еще лет – 1990-х.

На удивление даже, оглядываясь назад, обнаруживаешь прямо-таки бесследное исчезновение описанного выше энтузиазма, могущего ныне восприниматься только как болезненное перевозбуждение в измененном состоянии сознания. Да, но исчезали они как-то незаметно. Вернее, не они, а *оно* исчезало. Как, скажем, указать человеку на камень и попытаться убедить его, что он именно и произошел от этого невразумительного объекта неживой природы. Но вот

если так ненавязчиво, постепенно – сначала камушек раздробился, потом перетерся в песочек, потом в какую-то массу, потом там какие-то молекулы забегали. Потом растения. Потом медузы разные. И вроде бы не так уж и парадоксально это прямое родство с сизым бульжником. Как говорится, жизнь победила никому не известным способом.



Снизу: Андрей Сахаров на лестнице Кремлёвского Дворца съездов. 1989

Сверху: Михаил Горбачёв на трибуне Первого Съезда народных депутатов СССР. 1989



Первый Съезд народных депутатов СССР. 1989



Борис Ельцин после заявления о выходе из партии. XXVIII съезд КПСС. 1990



Председатель Ленсовета Анатолий Собчак. Ленинград. 1990



Молитва о мире. Ош. 1990

Темнеющий воздух



Александр Гольдштейн
писатель
1957–2006

Год в Баку начался раньше календарного срока – дебелой, сродни закавказской виноградине, осенью. Сквозь ее наливное бахвальство глаз впервые без возражений увидел, что с армянами в этой столице еще разберутся, и если кому померещилось, будто для счастья достанет дежурного Карабаха и сумгаитских отмищений, то чтоб не надеялся на такой мелкий исход. Несколько выдуманных или реальных событий (тогда это был один черт, страх инородцев, как повсеместно в истории, откликнулся на любые дрожания окоема, и все они обещали расплату за грех соучастия в интересной эпохе) оказались оракулом неизбежного. Активисты Народного фронта, ширился слух, обходили домовые конторы, чтобы не торопясь выявить расово чуждых и подлежащих трансферу жильцов. Кому-то, опознав характерную внешность, врезали прямо среди улицы. Пара-тройка ворюг забралась на невысокий балкон к старой армянке, и та, полагая, что настала минута возмездия, с криком по собственной воле выпала вниз, а парни, желавшие только ограбить и ничего ценного не найдя, от злости с того же балкона побросали вслед тетке ее деревянную рухлядь. Она вдрызг разлетелась на асфальте близ трупа самоубийцы, и якобы за эпизодом смеясь наблюдала милиция. В этом мне уже чудится сценический перебор, по-восточному орнаментальное украшение рассказа. Но отчего б не поверить – и не такое случилось потом.

– Как ты можешь здесь оставаться, немедленно уезжай! – месяца за полтора до погромов орал по телефону застрявшей в городе оптимистке мой давний приятель, органист и порхающий консерваторский доцент, любимый волоокими, с непреходящим культурным запросом, женщинами разных кровей и местной, не меньше того кровосмесительной, интеллигенцией. (Многократно привечали меня в этой квартире – просторной, с горами книг, перезвонами хрустелей, обязательным из трех блюд и десерта обедом, окнами на знаменитый, по уверению многих, бульвар и портретом Мандельштама, если не Оливье Мессиаана на фортепьяно – впрочем, они были оба инкрустированы в приморскую композицию, поочередно дыша друг другу в затылок. Знать бы, кто теперь шаркает по тем навощенным паркетинам, но нет, лучше не знать.) Не юный уже человек, унаследовавший, несмотря на изнеженность, еврейские родовые повадки сопротивления, он сейчас колесит по Нью-Йорку меж своих работенок, музицируя в протестантских церквях и синагогах американского реформизма, отвергаемого ортодоксальным раввином Израиля. Главное, сказал он мне на каникулах в Тель-Авиве, не забыть, где ермолку надеть, а где снять. В остальном жизнь интересна, хоть порой утомительна. «Тише, я тебя умоляю, может, еще ничего и не будет! – стонала заслуженный доктор республики, его энергичная мать, чьим усердием держался тот дом. – Осторожней с посудой, Валюша, не берите сразу так много», – другим голосом обращалась она к домработнице и, морщась, делала жест, отгоняющий движение недостойных масс воздуха, как бы густеющих табачных клубов или

даже испарений спиртного. – «Да то же графинка что камень, упадет – не сломается, Дора Моисеевна», – дыша в сторону от хозяйки, колдыбала до раковины Валюша.

Фактическая канва обязывает к предупреждению: я не намерен в рамках данного текста солидаризоваться с какой-либо из сторон азербайджано-армянской распри народов и, в отличие от демократической русской общественности, затрудняюсь осмыслить, кому именно в этой схватке выпало глотать жертвенный дым под штандартами справедливости. Я нередко смотрел в 1990 году московское телевидение, восторгаясь свободолобием молодых ведущих, блеском их карих, светлых, даже без преувеличения, зеленых и голубых глаз. Еще больше меня восхищало обаяние прогрессивных речей их старших, но отлично сохранившихся соговорников, этих профессоров и завлабов, советников и референтов, плотных, с тонзуркою, капуцинов, так убедительно, не опасаясь начальства, твердивших о вольноотпущенной, как Тримальхион, экономике, о разрешении национальных вопросов. Мне очень недоставало их веселой уверенности ни в то плюсквамперфектное время, когда рассудок был смят местоположением еврея, которому в нарушение всех конвенций дозволили со стороны приобщиться к чужому погрому, ни тем паче сейчас, на Ближнем Востоке, где я вместе с прочими удостоен неизлечимой позиции в другом справедливейшем братоубийственном прении и вынужден до скончания дней дискутировать с двоюродным племенем Ишмаэля. Находясь меж зубов этого цикла, я чувствую, что все чаще из глотки проскальзываю в пищевод, опускаюсь ниже и ниже, дабы затем вернуться наружу с блевотиной.

Очень жарко вдобавок, тело мое истекает солоноватой жидкостью, запотел даже кафель на кухне съемной квартиры; Вадим Россман, друг и востоковед, однажды изрисовал его иероглифами даосов и конфуцианцев, а вскоре покинул Израиль, не обретя тут душевного мира. Потными пальцами я тычусь в клавиатуру компьютера и, конечно, промахиваюсь, набираю неточные буквы. Новый Шатобриан из последних страниц «Замогильных записок» (очарован оккультной действенностью его латинского журнализма), я, подобно моему покровителю и инспиратору, под утро сижу у окна, распахнутого в смазанность очертаний, но если он, омытый прохладой ноября, созерцал бледную луну над шпицем Дома инвалидов, освещенного золотыми лучами с востока, – одна эпоха померкла, уповательно воссияет другая, и ему, предрекшему эту багрянородную кафоличность, услышавшему клекот истории, уготовано чаемое бессмертье за гробом, – то мой умственный взор не находит знаков грядущего и принимается озираться окрест, ловя фосфорический отблеск тель-авивской улицы Бен-Йегуда.

Взор блуждает вдоль ее антикварных, ковровых, закусовых лавок, восходит к излучине улицы Алленби и стремглав ниспадает к полузаброшенной автостанции, круглые сутки кишащей гастарбайтерской беднотою труда. Чистенькие азиатские женщины выскребают виллы господ, выгуливают ашкеназскую дряхлость, а в оставшиеся часы обитают в этих трущобах филиппинским и тайландским, надеюсь, без собаководства, кагалом, обучая своих малых детей, родившихся уже здесь, близ вечносущих ключей юдаизма, молитвословиям христиан – *God bless daddy*. Румыны спиваются, надорвавшись на стройке, их небритые карпатские лица стали дублеными и отсутствующими – так выглядят те, кому вместо жизни дали судьбу. Черная Африка развинченно суетится в ночи и не сливается с фоном. Настырно продает стоптанную обувь, футболки и сигареты какая-то бес-прозванная шушера. Шевелят губами во сне три смрадно истлевших клошара. Неподалеку, в массажных притонах краснофонарного переулка, торгуют собой наши русские сестры. Обманчиво скрытые пунцовыми занавесками, этими зовущими вождеделение полумасками плоти, они выглядывают в нижнем белье или просвечивающих хитонах соблазна. Крепкие щеки, скабрзные бедра, иногда татуировки на голенях и предплечьях, ухватистый и зазывный иврит. Написал эти слова и устыдился – так можно изображать женщин из дикого племени, индеанок намбиквара и бороро, а не наших сестер. Однажды я наблюдал, переминаясь у входа. Вошел и метнулся назад близорукий, по обыкновению торопящийся ешиботник в глухо задраенном, как подлодка, черном костюме и шляпе,

надетой на воспаленный талмудическим изошрением мозг. Заглянул, а потом передумал оливковый пыльный солдат с рюкзаком и винтовкой. Долго втискивался калека на костылях, сильными руками затаскивая свой искривленный организм. Я не собрался переступить этот порог: мнителен, брезглив, не слишком-то любопытен, и не хотел проверять, чем распустится цветок наслаждения. Ты совершенно не подготовлен, бросила она мне вдогонку, тщетно пытаюсь меня спровоцировать.

Верно замечено: я не готов оценивать правоту территориальных притязаний народов и даже не в силах по достоинству оценить азербайджанский народ, с которым соседствовал первые тридцать лет своей жизни. Он в означенный год убивал, но ведь не в полном национальном составе, о нет – это совершали отдельные многочисленные группы его, главным образом беженцы, изгнанные из домов победоносным напором армян. Беженцев с корнем вырвали из земли и в нее же втоптали, они лишились всего: прошлого, будущего, многие – жизни, им оставили только возмездие. Они были эмблемой несчастья, своего и чужого, гончими крови, сборщиками смертей. (В армянских карательных акциях, представляется мне, преобладали военно-полицейские рациональность и регулярность – вероятно, научились у турок; азербайджанцы отвечали порывом и экзальтацией, чересчур увлекаясь художественной красотой поступков, их кроветворным мстительным пафосом.) Вывихнутые, отпетые, обездоленные, беженцы, или, как их называли, еразы, черными тенями кружили в январском Аиде, впечатываясь в пространство сознанием, что жилища армян теперь безраздельно отданы им. Они перемещались компактными ордами, гудящими стаями, несли топоры, ломы, заточки, дубье. Об их приближении извещали темнеющий воздух, омраченная искренность атмосферных явлений, воющих голосов. Врывались в дома, разоряли, потом неумело устраивались; руководило ими отчаяние. В головах толп часто шли женщины, изнуряя себя протяжными криками и судорогой телодвижений, намекавших на долго утаиваемую, но вот без помех откровенную прелесть обряда.

Едва не столкнувшись с процессией, я догадался, что стал очевидцем всей пронзительности мухаррама – страдальческой, вопленной, раздирающей кожный покров мистерии шийтов, чьим слезам, льющимся на угнетенную ли самокалечением плоть или на трупы врагов, не суждено уврачевать древнюю рану утраты. Мухаррам, траурное оргийное празднество в честь героически погибшего внука Мухаммеда, ордалия мусульман, плачевно-ваххический кенозис ислама, неусыхаемость слез из глазниц ежегодно, под взвой рассекающих тело бичей и цепей, возвращение неизбывной беды, на сей раз умноженной новым рыдающим песнопением, – погром выдался еще одним, внеочередным мухаррамом и высоким достижением творчества, ибо в нем было все, что отлетело от современных искусств: жестокость, свет, бескорыстие (квартиры – только предлог), мучительный энтузиазм, прямое обращение к чувству, религиозная вера в непосредственный отклик реальности.

Еразов многие поддержали: отношение колебалось от вяловатого одобрения до припадочной солидарности. Еразы были батальоном реванша, штурмовавшим захваченную крепость надежды, их использовали и опасались, что они выйдут из повиновения, но опасались напрасно. Мухаррам – скоротечное действие: в огне его ритуалов душа способна продержаться недолго, а потом остывает до повседневности пепла, шелестящей жалобы и покорности. Политкорректность мне сейчас безразлична, потеряно много больше, и я бы играючи, всего лишь из прихоти и вздорного нрава (на мой взгляд, пишущий, если он не достиг ангелического состояния, обязан демонстрировать вздорный характер), наговорил много запальчивых слов, но что-то удерживает. Быть может, воспоминание о писательском сыне, ставшем зайкою после того, как увидел, что делают его соплеменники, или образ манифестации скорбящих (черные нарукавные ленты, медленный шаг, непокрытые головы), не убоявшихся заявить о своем единении с жертвами, или знакомство с теми, таких было немало, кому площадные радения масс не помешали прятать и укрывать, или известия о том, что другая сторона тоже не в бирюльки играла. Имелось и еще одно, самое важное обстоятельство, должное оправдать азербайджан-

ский народ на страшном суде всех конфессий. В квакающем бакинском пруду, основой которого была семейственность и безмозглость, существование мое и моих рассеявшихся по глобусу сопластников было сносным, временами приятным, для кого-то и вовсе прекрасным и сладостным – отчего не сказать эти слова, если к ним потянулось перо. В общем, мы жили как у пророка Исы за пазухой, и гурии, звеня браслетами на лодыжках, нежными языками слизывали хмельные соки, стекавшие по нашим праздным телам. Непонятно, почему эта жизнь, которую великодушно даровал нам азербайджанский народ, должна быть поставлена ниже бессмысленной, кишками наружу, смерти двух-трех сотен ничем себя не проявивших людей.

Вершина года пришлась на январь; я не преувеличиваю, не путаю локального с общим, неслучайно впечатлительный публицист написал, что перестройка завершилась в Баку. Тринадцатого числа корпел в публичной библиотеке над национал-большевизмом, подошел приятель, математик-еврей, сказал: надо отсюда валить, только что звонил он домой, **«*ц, громят, началось, хорошо бы и нам за компанию не воткнули. Было светло, но в супрематической белизне зимнего неба уже отворилось чердачное оконце, откуда, густея и расширяясь, лилась чернота и со скоростью тьмы закрашивала пейзаж. На ближайшей стене нацарапали надпись: «Вазген – гётверан», где Вазген – католикос всех армян, гётверан же, на тюркских наречиях, – употребляемый в задний проход, что – мерзость пред Господом. Вечером прибежала школьная подруга, бледнолицая мать-одиночка со своим в одеяло закутанным годовалым младенцем, сзади колченого приплясывала ее бабка, которой семейное предание местечковых экзодусов подсказало захватить бережно завернутую во фланель сплотку, как выражается классик, серебряных ложечек. Испуганным еврейкам учудилось, что мусульманин-сосед зарится на трехкомнатную их фатеру – тем же вечером зарежет, убьет и отнимет.

За неделю из города, проявив невероятную волю к расовым очищениям, вышвырнули около 200000 армян. Москва выжидала, булькая в телянице о нарушении невесть каких норм, кажется, человеческих, а может, национальной политики. Пока она телепалась и соболезнавала, толпы повстанцев, в которых преобладали уже не еразы, но идейно подкованный контингент, закончив с инородцами, обложили главное здание республиканского парткурятника и, по слухам, установили муляжные или даже настоящие виселицы. По всем признакам выходило, что долги будут взыскивать с набежавшим процентом, запахло низложением власти, сверкнули античные вертикали исламского государства, Хомейни недаром вгрызался в Платона, одолжив у него двухъярусное строение правящей касты: философы-аятоллы и стражи, преторианская гвардия революции. Кремль этого не стерпел, покушались на его ставленников и холопов. Около полуночи (Телониус Монк наяривал в небесах) на танках влетели войска, одним махом положив прорву народа, в абсолютном большинстве невиновного, кровью чужой не замаранного – ненасильственных сопровотвленцев, зевак, любопытных, ночных случайных гуляк. Мечта Бретона о простейшем сюрреалистическом акте, о револьвере, направленном в брюхо толпы, исполнилась на улицах закавказского града, и мэтра не покорежила б замена будуарной игрушки проливной скорострельностью пулеметов.

Потом снова себя истязал мухаррам, погребенье стонало и пело в зимней безветренной чистоте нагорного парка, куда снизу вверх текли черные реки расставаний с убитыми, бесконечные реки, усеянные тысячами красных, в петлицах, гвоздик, и весь город был в черных знаменах, он ими укрылся, как единое похоронное тело. Сырость могил мешалась с танковой вонью солярки, а нам, безгласным свидетелям, все открылось до последних невидимых крох: отныне мы беззащитны. Центр сдал нас, как на живодерню собак. Это была его закатная политика – пусть уроды и чурки, да хоть бы и русские, до единого себя перережут в колониях, лишь бы не тронули партактив, худо-бедно позволявший удерживать земли. Чуть позже ничем не стесненное, ничего не стеснявшееся московское ханство похерило даже эту сверх меры циничную, но все-таки остаточную-имперскую линию; оно предательски избавлялось, отпихивая их, от территорий вместе с людьми – пропади они пропадом, у самих больше, чем нужно,

говорящих по-русски, никто не давал клятву оберегать их от новых национальных владык. Спешу заявить, что не состою на довольствии у евразийцев-державников и нет у меня картвой спецвыгоды держаться за попугайский костюмчик разносчика слов, которыми полнится любой лево-правый листок, но могу побожиться: есть в этих словах своя правда, а если она оскорбительна – не читайте.

Российские события года вспоминаю сквозь пелену, они шли в стороне, стороной, а у меня собственных дел было по горло, одолевали предотъездные паника и маета.

Отменили шестую статью основного закона, февральская революция, ну и ладно, нас, убывающих, эта многопартийность уже не коснется.

Весть о талонном распространении ценностей в обеих великодержавных столицах, об очередях, пандемически созданных Провидением к еще одному накоплению пустот (недоставало, как уверяли, всего, и реестр убытков якобы впечатлял безызынным захватом сектора «Б»), окраина встретила с неподдельным злорадством: мы давно уж читали по Брайлю в ладонях и пальцах подслеповатые карточки продовольствия, но и эти абонементы в оперу нищих-через раз удавалось опредметить съестным. Талоны на масло не гарантировали бутерброда, ибо простой продукт надлежало еще изловить – презирая обыденность, он почти не лежал в магазинах, отказавшись повиноваться даже билетикам всеобщего уравнивания. Уже немножко поеденный и, будто влагой рождения, окропленный слюной высших сил, он изменчивым счастьем падал из иногда разжимавшихся ртов распределительной экономики, и стоявшие снизу, кому его удавалось поймать близ прилавков, встречали наживу ликующим гласом «Эвойе!», а остальные смотрели на них сквозь дырки невозвратного сыра. Общество равных возможностей вновь залучили в наши края недородами тертые старушки-пенсии, ставшие герольдами эгалитарного детства. Безраздельные арендаторы времени, они деннонощно выслеживали дату продуктовых завозов, оповещая дворы и усадьбы, станицы и хаты, и люди всем миром сходились в торговые точки, где через каких-нибудь часа полтора (в песочных хронометрах осыпалось уставшее время) им доставался говяжий, мороженный кус на матерой, в пол-общего веса кости и чуть оплывающий, с изжелто-солонатовою поволокой брус крестьянского масла. Кус и брус – иначе не вспоминаю. Московские страсти вокруг еды и другого снабжения показались мне преувеличенными: я невозбранно там покупал отменную ряженку, сладкую творожную массу, пышный, полусонно вздыхающий хлеб, сам овитый, как местное меткое слово, пирог, даже, если не заблуждаюсь, американский табак – все не так было плохо у центрального пункта, возле красного сердца, но автохтоны меня могут оспорить, конечно.

В столице по доступным якобы ценам учредили *McDonald's*, приятного аппетита, вряд ли успею стрескать до вылета.

Ростропович с Вишневецкой восстановлены в советском гражданстве, рад за обоих, бешеному тщеславию этих людей отныне не будет предела в отечестве.

Президентом Грузии избран Звиад Гамсахурдия; выступавший против этого восхождения Мераб Мамардашвили, услышав в московском аэропорту, что приказом его оппонента ему закрыт путь назад, к тбилисским мощеным горбам, дворам, студенческой пылкости сходок и застольному велеречию величаний, умирает от сердечного приступа под объявления о нелетной и летной погоде. Мне нравились оба этих романтических образа, и не имеет значения, каким один был политиком, второй же – философом; подозреваю: тут они квиты, но вот что поистине сущностно: их овевало врожденное шляхетство, самостояние гордости и презрения, осанки и риторической позы, так что история мудро похоронила их рядом, будто двух любящих, разведенных превратностью случая и наконец соединившихся там, где у раздора нет силы.

Рубящим острым предметом, как Троицкого, на проселочной русской дороге убили священника Меня. Креститель интеллигенции, автор пасхальных куличей культпросвета, вызывавших изжогу своим олеографическим назиданием, он был импозантным, окладисто-сановитым пастырем разношерстного стада, и что-то со смертью той оборвалось, лопнула струна

московских агап с их надрывом, кокетством, высокомерием, осознанием себя солью земли – но и невычитаемостью из образа времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.